

ЕЛЕНА ВЕРНЕР

«...все люди на земле –
свидетели. Свидетели бытия друг
друга. Как зеркала,
которые просто куски
стекла с амальгамой,
пока в них
не отразится
чье-нибудь
лицо».

ДЕСЕРТ
ИЗ КАШТАНОВ

Елена Вернер
Десерт из каштанов

«ЭКСМО»

2017

УДК 821.121.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

Вернер Е.

Десерт из каштанов / Е. Вернер — «Эксмо», 2017

ISBN 978-5-699-99676-6

Джейн Доу – так в медучреждениях англоязычных стран называют неопознанных женского пола. Арсений Гаранин, заведующим реаниматологии, вспомнил об этом, когда к нему попала пациентка, личность которой установить не удалось. При виде изувеченной девушки сердце его дрогнуло, хотя он увидался всякого. Следуя внутреннему зову, мужчина решил выяснить, кто эта незнакомка с волосами цвета воронова крыла, пребывающая теперь на пороге царства Аида. И если бы не случайно найденный Арсением дневник Джейн Доу, спасти ее во второй раз ему бы не удалось...

УДК 821.121.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-699-99676-6

© Вернер Е., 2017
© Эксмо, 2017

Содержание

Часть первая. Джейн Доу	6
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Елена Вернер

Десерт из каштанов

© Вернер Е., 2017

© ООО «Издательство «Э», 2017

* * *

*«Жизнь, которую ты спасешь, может оказаться моей»
(Джеймс Дин,
за несколько дней до гибели)*

Из оранжевой тетради в синюю полоску:

«Сколько себя помню, мне всегда не давал покоя один вопрос: почему шоколад электризуется, если его натереть на терке? Что может быть более несовместимо, чем эта парочка?

Шоколад.

И электричество».

Часть первая. Джейн Доу

I

Ее привезли под утро. Уже рассвело, но в июне светает рано, и до конца дежурства оставалось еще несколько часов. То самое время, когда вдруг накатывает невыносимая, нечеловеческая усталость, перемешанная с ощущением пресловутой тленности бытия и бессмысленности всего сущего. Когда хочется домой и реветь – если верить Ларке. Сам Арсений, естественно, не плачет. Не та профессия. По правде сказать, Ларису Борисовскую за двенадцать лет совместной работы он тоже никогда плачущей не видел, даже когда от нее ушел муж, и то, что она когда-то призналась в желании «чуток пореветь», было настолько удивительно, что Гаранин помнит это до сих пор. Обычно все, что не касается работы, он выбрасывает из головы незамедлительно.

– Арсений Сергеич, ургентку¹ везут! – сунулась в дежурку медсестра. – Уже на подходе. Не то избиение, не то столкновение с поездом. Травмы, массивное внутреннее кровотечение. Вторая операционная.

Он одним глотком допил несладкий кофе, на зубах мягко хрустнул песок кофейной гущи. Арсений не переносит растворимый кофе и всегда захватывает из дома свой, самого мелкого помола – настоящая черная мука, – чтобы заваривать кипятком прямо в чашке и пить непременно очень горячим. Компромисс качества и быстроты. Этот вкус, кисловатый и чуть жженный, еще преследовал Арсения Гаранина, пока он бегом двигался по серо-зеленому коридору, переодевался в оперблоке и перебрасывался отрывистыми фразами с хирургом, сидящим субтильным Володей Сорокиным. Гаранин любит работать с ним, у Сорокина – ловкие маленькие руки, необъяснимая «чуйка» давно оперирующего человека и незлобивый нрав. В отличие от многих других с Сорокиным не надо ни прогибаться, ни ставить себя выше – словом, обычного подспудного соперничества хирургов и анестезиологов у операционного стола здесь даже не возникает.

Сколько бы операций ни было в его прошлом, сколько бы опыта он ни накапливал, Гаранину всегда в первую минуту не по себе рядом с лежащим на столе пациентом. Это не опасения сделать что-то не так, не страх за жизнь больного и не дурное предчувствие, конечно, – этому даже определения-то нет. Просто тугой холодный комок в животе, и челюсти сводит, как от озноба или зевоты. Сейчас это чувство было даже сильнее обычного. Но времени обращать на это внимание нет.

– Женщина, около двадцати пяти, вес 52, рост 171. Найдена без сознания на железнодорожной насыпи. В «Скорой» сердце встало. Запустили. Переломы костей лица, закрытая травма черепа, множественные ранения головы, желудочковая тахикардия, давление 90 на 50 и падает, пульс 130. Внутреннее кровотечение в брюшной полости. Перелом большеберцовой кости, правая нога.

– Общий анализ крови. Готовьте эритроцитную массу на переливание, – буркнул Сорокин. – И Лискунову звоните. Быстро.

Женщина? Да, пожалуй. Гаранин бегло и хватко оглядел распластанное перед ним тело. Смешение синего, белого и красного, и все эти цвета неприятны, мертвенны, каждый по-своему. Несмотря на то, что мониторы фиксировали признаки жизни, это было не тело, а почти останки. Ссадины, кровь, а вместо лица... Черт.

¹ Имеется в виду ургентное состояние здоровья человека, т. е. критическое (*прим. ред.*).

Кажется, он выругался вслух, потому что Сорокин бросил на него острый взгляд поверх маски. Медсестра продолжила:

- Судя по всему, жертва избиения и изнасилования.
- Ощущение, что и то и другое сделали грузовиком, – пробормотал Сорокин.
- А при чем тут поезд? Мне говорили, столкновение с поездом.
- Нашли на насыпи.

Гаранин дал наркоз.

Весь следующий день, отсыпаясь, он то и дело выныривал из потного сна, путаясь в мокрых простынях, и ему чудились волосы неизвестной женщины. Блестящие плети, кое-где залитые бурой густой смолой уже свернувшейся крови. Кажется, он слышал, как одна из ассистировавших медсестер шепнула другой:

- Какие волосы-то хорошие у девчонки... Жалко.

Черные волосы. Самые черные из всех, что Гаранину приходилось видеть, с синим отблеском, но некрашенные – он почему-то понял это сразу. Такого цвета бывают перья на шее у лесных воронов или грачей. Их сбрили подчистую, а по поводу черепно-мозговой пришлось вызывать бригаду нейрохирургов во главе с Лискуновым. «Снявши голову, по волосам не плачут», – вертелась и путалась в мыслях старая бестолковая поговорка, вызывая раздражение и тоску. Сейчас эти великолепные волосы наверняка покоятся в одном из мешков с хирургическими отходами.

На этой операции Гаранину стало плохо. Такое с ним впервые. Нет, во второй раз, чуть не забыл: однажды, на третьем курсе, всю группу водили в перевязочную посмотреть на вскрытие флегмоны. Он был не единственным, кто отключился прямо в перевязочной, но отец, профессор Сергей Арнольдович Гаранин, узнав о позорном фиаско сына, вздохнул разочарованно:

- Не выйдет из тебя ничего путного...

Однако в сознательной врачебной жизни с ним такое впервые. Всему виной непереносимая духота в операционной – опять сэкономили на кондиционере... А ведь им, стоящим вокруг стола, придется едва ли не подпирать своими затылками лампы, отрегулированные оперирующим хирургом. Чувствуя, что уже поплыл и вот-вот потеряет сознание, Гаранин отошел от стола и прикрыл глаза. Кожу прошибла испарина, липкая, кислая, пальцы похолодели и мелко вибрировали, к горлу подступал давешний кофе.

- Светлана Юрьевна, – обратился он к медсестре сипло. – Попить дайте.

За сорок лет жизни, из которых детские годы он провел в окружении родителей-медиков, а взрослые – в мединституте, больнице и военном госпитале на Кавказе, Гаранин научился держать себя в руках. Вот и сейчас приказал себе вернуться к столу и делать свою работу. Не хватало еще, чтобы из-за его унижительного недомогания что-то на операции пошло не так. Эта несчастная женщина, больше похожая сейчас на раздавленную велосипедным колесом лягушку, явно заслуживает лучшего. После того, что пережило это тело, ей должны бы проститься все грехи. Вот только он и Сорокин делают все возможное, чтобы ангелы не уволокли ее в рай прямо сейчас...

Пробуждение оказалось ударным. Гаранин сел на постели рывком, чувствуя, как бешено колотится в груди сердце, и только после этого открыл глаза. Его тело было готово к бою, к бегу, к обороне, напряженное в каждой клеточке, суставе и мышце. И только несколько мгновений спустя, окончательно придя в себя после бредового сна, он понял, что биться ему не с кем и бежать тоже некуда. Он дома, в кои-то веки дома, и, если верить старинным часам, сумрачно перебирающим паучьими лапками стрелок, у него еще целый час до петушиного крика будильника.

С тех пор как два года назад его назначили завотделением реанимации, Гаранин почти не бывает дома. Постоянно засиживается допоздна в своем кабинете, ставя подписи в бесконечной череде выписок, графиков, табелей, распоряжений, уведомлений, должностных инструкций и отчетов. Или обходит вверенную ему территорию, навещает больных, следит исподтишка за медсестрами и врачами, делая выводы об их работе и душевном состоянии (моральный настрой тут очень важен). Спорит с начальством, пытается выбить современную потолочную консоль, дополнительные медикаменты, инструменты и бог знает что еще. Больница постоянно испытывает острую нужду в чем-нибудь, а его отделение особенно, хотя оно и так самое затратное из всех. Не потому, что тут одни транжиры, а потому, что здесь балансируют на грани жизни и смерти, и эта черная эквилибристика влетает в копеечку. Частенько Гаранин остается ночевать на работе, прикорнув на диване и укрывшись с головой худым колючим шерстяным одеялом, которое в обычное время лежит в шкафу на верхней полке. Не то чтобы это было необходимо – скорее, ему не нравится альтернатива долго трястись в трамвае, топтать через парк, подниматься по лестнице на верхний, третий, этаж и заходить в пустую темную квартиру, где его никто не ждет. Больше не ждет.

Прошло около двух лет, а он все ловит себя на том, что пытается услышать ее шаги, уловить ее запах. Когда он приходил, Ирина почти всегда была дома, выходила из дальней комнаты с книгой в руках и шалью на плечах или выглядывала из кухни, откуда волнами накатывали запахи пряностей, уксуса, горячего варенья, жареного лука, гречневого супа... У нее была особая улыбка, небыстрая, словно жена не сразу узнавала его, выплывая из морока собственной задумчивости, и по мере узнавания улыбка становилась все шире. Теперь ему этого не хватает. Квартира тихая, прохладная, всегда с одним и тем же запахом: на стене прихожей висит большой сухой венок из листьев лавра и эвкалипта, который они привезли из последнего совместного отпуска. Ездили в Грецию... Этот трескучий островатый аромат не терял своей силы с течением времени, им пропахла одежда на вешалке и полотняная штора, закрывающая стеллаж с книгами. Он напоминает об Ирине и архипелаге в Эгейском море, так же как напоминают о них голубые стены и белый потертый комод. Вот только в отличие от воспоминаний, перелитых средиземноморским солнцем, словно оливковым маслом, настоящее Гаранина сухо, сумрачно и холодно, как этот венок на стене.

У него нет даже домашнего питомца, который встречал бы вечером, потираясь спиной об угол или виляя хвостом от радости. Нет кошки и собаки – это лишняя ответственность, а у него и так этого добра хватает. Даже цветы, которые Ирина растила в горшках и кадках, он перевез потом в больницу, в холл. Там их хоть кто-то видит: медсестры, больные... Может, кому-то эти цветы поднимут настроение. Сам-то он за цветами ухаживать не умеет, как-то загубил один (название, конечно, выпало из памяти, потому что совершенно не пригодится в работе) и расстроился намного сильнее, чем от себя ожидал. Решил, что лучше и вовсе избавиться от этих зеленых оборотов в горшках. Так что теперь их Вера Ромашова обихаживает. Или кто-то из санитарок, точно Арсений не в курсе.

Чувствуя, как медленно и неохотно отступает дремота, он почистил зубы, поплескал в лицо холодной водой, зашнуровал кроссовки и спустился по лестнице. Жара еще не успела разойтись, из-под балконов и из темных дворовых углов тянуло ночной влагой, хотя небо уже наливалось белесым зноем.

Гаранин бежал по парку, ощущая, как ступни упруго встречаются с вытоптанной землей тропинки: хлоп, хлоп, хлоп. Футболка на спине промокла и липла меж лопаток. Он всегда бежит не по мощеной дорожке, а по грунтовой: бережет коленные суставы. Руки работают, как поршни, вперед-назад, кровь по венам струится быстрее, на лбу выступает пот, грудь вздымается от разворачивающихся в полную силу легких. Этот неприменный утренний мочин проводится уже давно, чтобы окончательно проснуться и привести организм и мысли в порядок. За эти сорок семь минут Арсений успевает прокрутить в голове вчераш-

ний день, упорядочить его, составить список дел на сегодня, вспомнить имена больных, их диагнозы, назначения. Иногда во время пробежки у него наступает озарение, вдруг вспоминается упущенная накануне в суматохе деталь, оброненное замечание, которое теперь вдруг встает на место и позволяет сделать важный вывод. Например, как на той неделе, когда он не сразу заметил чересчур тревожное состояние пожилой пациентки, и только на третьем круге вдруг осенило, что ее тревога – это симптом. К счастью, очень вовремя осенило.

Сегодня он думал о неизвестной с черными волосами. Об операции.

Из-за сильного отека они сообща приняли решение держать ее пока в медикаментозном сне, чтобы снизить возможность повреждений. Когда операция завершилась, в холле, как раз в окружении комнатных растений, когда-то росших у него дома, Арсения уже дождался полицейский. Наверное, этот тучный человек с темными кругами под глазами просидел здесь не один час и уже потерял всякое терпение, судя по тому, как проворно и раздраженно он рванулся навстречу врачу. Капитан, разглядел Гаранин погоны. Приближаясь к посетителю неспешным шагом, он привычно составлял портрет незнакомого пока человека. На вид около сорока, скорее больше, чем меньше, хотя с подобной работой он может выглядеть старше своих лет. Взять хоть самого Арсения: первые морщины у него появились еще во время бессонных бдений интернатуры... Форма опрятная, а ботинки давно не чищены, их тусклые носы выглядывали из-под мешковато висящих брючин. Китель он по случаю жары снял и перекинул через спинку стула, не боясь помять, а рукава рубашки закатал до локтя, так что стали видны крепкие волосатые руки. На правой Гаранин разглядел большой белый рубец овальной формы, с бледными лучиками хирургической стяжки по краям. Возможно, старый след от пули.

– Вы Гаранин? – спросил полицейский довольно хмуро. Арсений кивнул. Ему не понравился тон, пусть даже этот человек прождал его не один час... Он тут тоже не землянику собирал.

– Капитан Грибнов, следственное управление. Веду дело вашей пациентки...

– Вы узнали, кто она? – перебил его Гаранин. Капитан чуть заметно поморщился от неудобства прямого вопроса и стал разворачивать рукава, приводя себя в порядок:

– Еще нет. Ищем. По крайней мере, заявлений о пропаже человека, подходящего под ее описание, пока не поступало. Она хоть выжила?

– Хоть выжила! – Арсений отозвался резче, чем планировал.

– Тогда мне бы с нею потолковать...

– Капитан... Грибнов.

Арсений сделал паузу, потом вздохнул, потер руками глаза и лицо, чувствуя, как отросшая щетина царапает ладони. Наверное, видок у него изрядно помятый. Еще бы, двое суток на ногах. Надо приструнить свое раздражение...

– Капитан Грибнов, – уже миролюбивее продолжил он. – Эта женщина пережила жестокое, зверское нападение, у нее очень серьезные травмы, и опоздай «Скорая» минут на пять, мы бы ее уже не спасли. Сейчас она в медикаментозном сне, и пообщаться с ней совершенно невозможно, только если у вас нет какого-нибудь знакомого экстрасенса или медиума, который может достучаться до коматозницы, но я думаю, что вряд ли. – Он хмыкнул в конце фразы, давая понять, что это шутка, но у Грибнова на лице ни один мускул не дрогнул. – Держать ее в этом состоянии мы будем столько, сколько потребуется, чтобы исчезла угроза повреждений мозга, и сейчас я не могу сказать, насколько все плохо. Даже придя в сознание, она может ничего не вспомнить о произошедшем или забыть, как говорить, двигаться, кто она... Неврологические, физические и психические последствия предсказать в этой ситуации чрезвычайно трудно. Так что я советую вам начать с другого конца.

– С какого конца?

– Ну, это уж вам виднее. Место преступления, свидетели... – Гаранин развел руками.

– Так вот вы и есть один из свидетелей! Я тут что, зря столько торчу?

– Не знаю, зря или не зря, но свидетель я никудашный... Известную привезли на «Скорой» примерно в 3:50. Были ли при ней какие-то личные вещи – понятия не имею, об этом надо врачей «Скорой» спрашивать. При мне на ней и одежды-то уже не было, медсестры сняли. Владимир Сорокин ее прооперировал, я был на операции анестезиологом. Теперь она в палате реанимации. Вот, собственно, и все, что я могу вам сообщить.

Грибнов покивал, подошел к посту медсестер и, перегнувшись через стойку, не спрашивая разрешения, вытянул из стопки чистый лист бумаги, перевернул обратной стороной, проверяя, не написано ли чего. Вера Ромашова, старшая медсестра отделения, наблюдавшая их разговор издали, выразительно и возмущенно приподняла брови, но Гаранин качнул головой, мол, пусть. Капитан протянул лист и, вытащив из деревянного стаканчика шариковую ручку, пощелкал ею пару раз:

– Можете это все записать?

– Нет, навряд ли. Я с суточного дежурства, завершившегося сложной операцией. Поэтому сейчас я пойду переодеваться, а вы пока запишете мои показания в той форме, которая вас больше удовлетворит. И на обратном пути из своего кабинета я непременно их подпишу.

Оставив капитана с выпученными глазами – тот явно не привык к отсутствию трепета перед ним, – Гаранин прошагал по коридору под ликующим взглядом Ромашовой.

Теперь, делая очередной круг по парку, подставляя разгоряченное лицо ветру, Арсений нисколько не жалел о своей беседе с капитаном. Вместо того чтобы торчать в больнице, мог бы по горячим следам расследовать дело. Впрочем, Гаранин в следственных мероприятиях не специалист... Они разошлись в разные стороны сразу после того, как были подписаны свидетельские показания и сунута в портфель простенькая картонная визитка с координатами следственного отдела, и очень хотелось бы верить, что капитан поехал расследовать дело неизвестной дальше.

Неизвестная... Мыслями Арсений снова вернулся к ней. Истерзанная плоть. Про душу внутри изувеченного вместилища лучше вообще не думать. Она сейчас в благословенном забытии, в небытии. Мир для нее не существует, и его, Арсения Гаранина, в ее мире не существует тоже, равно как и всей больницы целиком. Занятно все-таки: она для него есть, а его для нее – нет и никогда еще не было. Это хорошо.

Ему вдруг отчаянно захотелось, чтобы незнакомка подольше пробыла в медикаментозной коме, словно отсрочка могла как-то уменьшить ее трагедию. Конечно, уменьшит – физически. Чем дольше она пробудет в контролируемом сне, тем лучше затянутся ее раны, начнут срастаться переломанные кости, микроскопическая жизнь клеток, сосудов, весь этот таинственный мир внутри ее тела будет вновь стремиться к цельности и здоровью. Возможно, даже ее лицо успеет приобрести отдаленно прежние черты – Гаранин слишком хорошо видел ее травмы, чтобы понять, что она никогда полностью не вернется к своему изначальному облику. По крайней мере, не без помощи пластических хирургов.

Но пока нет даже этого. Тотальное ничто. Не существует даже ее имени. В англоязычных странах для подобных случаев есть общее имя – экземплификант, Джейн Доу: так называют всех неопознанных женского пола в больницах и моргах; у нас ничего подобного нет. Просто неизвестная. Незнакомка. Вдруг не к месту подумалось, что незнакомки в реальной жизни чаще встречаются отнюдь не блоковские, дышащие «духами и туманами», а вот такие, окровавленные и обезображенные до неузнаваемости.

II

Он сошел с трамвая на остановку раньше обыкновенного и побрел мимо живой изгороди из кустарника, покрытого молочными, медово пахнущими мелкими соцветиями, напоминавшими мотыльков, по шаткому мостку перебрался на другой берег затхлого ручейка, почти потерявшегося в высокой траве, и очутился у дальнего входа на больничную территорию. Давненько он тут не бывал. Судя по тому, что в глаза бросался общий упадок, главврач и завхоз сюда тоже заглядывали нечасто. Краска на чугунной ограде облупилась и завитыми лохмотьями осыпалась в придорожную пыль, штукатурка со столбиков тоже. Между больших, раскрошившихся уже кое-где по углам тротуарных плит лезли растрепанные кочки овсяницы, любопытный мятлик и приземистый основательный подорожник, а в советских бетонных вазонах-шестиугольниках рассыпали по ветру сероватый пух перезрелые одуванчики да трепетали серебристые хвостики ячменя. Гаранин про себя отметил, что, хоть это и ячмень, совершенно точно ячмень, но в детстве, помнится, бабуля Нюта называла его ковылем. Но даже это теплое, мигом промелькнувшее воспоминание не развеяло огорчения от увиденного. Да, все здесь довольно живописно, даже фонтан с выщербленной чашей, на самом дне которой в лужицах дождевой воды киснут листья и травяной сор. Но на территории горбольницы не место цветущему декадансу, по-хорошему-то... Так сказать, в идеале... Но кто из нас когда этот самый идеал узрел? Вот то-то же... И тем грустнее, что Лидия Алексеевна Шанина, их главврач, получившая прозвище Шанель за любовь к высоким каблукам, прическе бабетта из седых волос и старомодным платьям с узкой талией и пышной юбкой, прекрасно знает, как неприглядна задняя часть территории. Да вот только деньги на ремонт фонтана можно выбивать лишь после того, как починят раковины в палатах, заменят заржавленный, вечно текущий вентиль на третьем этаже, приклеят на место отвалившийся кафель в кардиологии, закупят расходные материалы на пару лет вперед, а еще аппарат УЗИ, уже упомянутую консоль, а еще рентген и... Можно перечислять до бесконечности, и ни каблуки, ни бабетта положения не исправят. Правда в том, что, пока они просят больных самостоятельно добывать шовные материалы и трамадол с мелоксикамом, стыдно даже думать, что у фонтанной статуи «Мальчик с дельфином» на дальней аллее постамент дал трещину. Какие, к черту, трещины в постаментах...

Гаранин кивнул греющемуся на солнышке Максимычу. Он сторож, хотя Гаранину еще с юности больше нравилось называть его привратником. Сколько он помнит эту больницу, Максимыч всегда здесь, местный старожил, и даже не сильно изменился: все та же седая трехдневная щетина, которая никогда не бывает двух- или четырехдневной, папираса в желтых пальцах и распахнутый тулуп – в июльскую жару и в январскую стужу.

– Здравия, Арсений Сергеич! – нараспев произнес Максимыч.

– И вам не болеть. Как оно?

– Помаленьку.

– Ну и славно.

Этот диалог стал почти традицией, Гаранин редко останавливался поболтать с привратником, но перебраться парочкой слов при встрече считал обязательным. Когда он проходил мимо, дворняга Максимыча, Берта, лежа в тени большого шиповника, дружелюбно побила обрубком хвоста в пыли. На памяти Гаранина, до Берты у Максимыча была Изольда, до нее – Марго, а еще раньше – Годива, белейшая лохматая овчарка, с которой Арсений часами бегал по двору больницы, когда приходил на работу к матери после уроков в младшей школе. Заднюю левую лапу ей ампутировали после того, как свора бродячих собак почти отгрызла ее, но Годива и на трех лапах мчалась куда быстрее Арсения. Когда она умерла, он очень горевал, иногда даже плакал. Кажется, тогда – в последний раз в жизни. Появившейся

после этого рыжей Марго он никогда не приносил ни говяжьих костей, ни сосисок из больницы столовой. От ее шерсти вечно воняло псиной.

Арсений зашагал быстрее. По длинной аллее, засаженной стройными рослыми липами, он добрался до восточного крыла здания, второй этаж которого занимало его отделение. Главный корпус горбольницы, светло-желтый, старинный, был построен еще до революции. Его, пожалуй, можно назвать даже красивым с фасада, с этой белой оторочкой барельефов, оконных переплетов и воздушной колоннады у парадного входа. Здесь, позади, располагаются хозпостройки, стоянка карет «Скорой помощи» и морг, сюда же выходят пожарные лестницы. Арсений отметил, что жизнь тут по-прежнему кипит, водители, пожевывая сигареты, перебрасываются шутками с хорошенькой молодой докторшей, санитарка выносит звякающее ведро помоев, из кухни пахнет рисовой кашей и горелым маргарином. Почти зайдя через черный ход в здание, он поднял глаза на окна отделения и нахмурился: окно сестринской было распахнуто, на подоконнике вполоборота сидела медсестра и курила.

Гаранин взлетел вверх по лестнице, в мгновение ока пересек коридор и распахнул дверь сестринской.

– Вы что себе позволяете?

Медсестра, немолодая, похожая на усталую сову, испуганно скользнула ягодицами по подоконнику и замерла, глядя на Гаранина затравленно, исподлобья. Сигарета все еще сизо дымилась в ее пальцах, сунутых едва ли не в карман халатика. Звали медсестру Валентиной, она устроилась работать в отделение в прошлом месяце. Что ж, недолго продержалась.

– Я вас спрашиваю! – Не закрывая за собой дверь, Гаранин вошел в сестринскую, где пахло хлоркой. Женщина понуро молчала.

– Валентина, вы четко проинформированы о правилах нашего отделения. Так? Так или нет?

– Так, – ответила она негромко, но твердо, будто спорила, а не соглашалась.

– И там ясно сказано, что курить в отделении запрещено. Это не бар и не дискотека. Это ОРИТ², черт возьми. Здесь люди... лежат! Вы за них отвечаете. А как вы можете отвечать за их жизнь, когда не способны дойти до лестницы? Я же не прошу луну с неба! Просто дотащить до дверей отделения вы как, в состоянии? Вместо того чтобы травить их прямо тут! И себя тоже. Ну как так можно?! – Гаранин глубоко вздохнул и рубанул: – Пишите заявление по собственному желанию. У меня всё.

Он едва успел переодеться в своем кабинете, когда в дверь постучала Ромашова. Она уже была в курсе – по глазам видно.

Старшую медсестру Веру Ромашову за спиной все в отделении звали Ромашкой. И она это, конечно, знала, потому что хорошая старшая медсестра всегда в курсе, что происходит на вверенной ей территории, а Ромашова – хорошая медсестра. На цветочное прозвище она не обижалась, потому что к фамилии своей давно привыкла и на глупости внимания не обращала в принципе: ее внимание слишком дорого, чтобы им разбрасываться. Помнится, когда Гаранин увидел ее впервые, то невольно еще раз заглянул в трудовую книжку, подумав: «Да ладно! Не смешите. Это и есть медсестра с опытом работы? Не слишком ли молода?» У Ромашовой был младенчески-гладкий лоб, над которым свивался в кудряшки золотистый пушок, не попавший в гладкий узел на затылке, и огромные глаза наивной гимназистки. Худая, невысокая и до невозможности расторопная. И если поначалу она в своем небесном брючном одеянии казалась не то Дюймовочкой, не то Снегурочкой, то скоро от первого впечатления не оставалось и следа. Ходила она быстро, хотя и без мельтешения, говорила веско, смотрела остро, зорко, бегло, ничего не упуская, потому как все перепроверяла дважды. Ее

² ОРИТ – аббревиатура: отделение реанимации и интенсивной терапии (здесь и далее прим. автора).

сухие руки были настолько ловки, что можно было только диву даваться. Иногда ее звали в другие отделения: когда попасть в тонкую или ушедшую вглубь вену не удавалось несколько раз. Катетеры она ставила виртуозно, даже если нужное место западало и не пальпировалось. Она могла попасть, как говорится, «в темноте с разбегу» в любую вену. Талант.

Но и в остальном, кажется, не имелось такой работы, которую Ромашова была бы не в состоянии выполнить, с которой бы не справилась. И нервы у нее – как стальные канаты, и с мозгами порядок. Для одинокой женщины, которая замужем за собственной работой, – редкость, признавал Гаранин. Однажды, к тому моменту, когда они уже сработались, Вера призналась, что в юности ее как-то сразу заприметили врачи в операционной и начали ставить на крючки во время холецистэктомий и на резекции желудка, и она ни разу не потеряла сознания над разверстым багровым зевом человеческой плоти, чем долгое время гордилась: «Девчонкой была, что взять-то...»

Ромашка прикрыла за собой дверь, придерживая рукой.

– Доброе утро, Вера. – Арсений сел за стол, машинально взглянул на график дежурств на июнь, подсунутый под толстое царпаное стекло поверх столешницы. – Как у нас дела?

Ромашка лаконично описала жизнь отделения за прошедшую ночь, хотя знала, что позже Арсений выслушает подробный отчет от дежурных. Никто не умер. Вчера прооперированная дама с резекцией кишки немного буянила, психоз из-за интоксикации. Пробовала отгрызть катетер и ударить медсестру Лену в нос.

– Лена отбилась?

Вера неопределенно улыбнулась:

– Пациентку седировали. Пара больных поступила из экстренной хирургии, один с аппендицитом, другой после автоаварии с открытыми переломами конечностей.

– Попозже к ним зайду. После летучки.

– Койки для плановых уже готовы.

– Хорошо.

– Через полчаса совещание у Шаниной, – сообщила Ромашка. – Просили быть всех завотделениями...

– Буду, куда мне деться. Что там... с той девушкой?

В глазах Ромашовой мелькнуло непонимание – выражение, настолько ей несвойственное, что Гаранин на миллисекунду тоже растерялся: как можно не понять, о ком идет речь? Все мысли ведь постоянно к ней возвращаются... Потом спохватился и уточнил:

– Незвестная. В первом боксе.

– А, с ней порядок.

По непонятной, но какой-то досадной причине Гаранину хотелось, чтобы ответ медсестры оказался более развернутым, но она обронила это свое «с ней порядок» и замолчала, и Арсений не стал допытываться. Лучше сам потом заглянет.

Гаранин кивнул, давая понять, что разговор окончен, но Ромашка не уходила. Пришлось поднять глаза от бумаг.

– Арсений Сергеевич. Надо решить по поводу Валентины. Сергиенко.

– Что там решать? Она курит в отделении.

– Такое больше не повторится.

Арсений посмотрел на Ромашову с иронией: ей-то откуда знать.

– Она толковая... Нам такие нужны, – мягко продолжила Ромашка, и Гаранин слышал за ее словами: «Такими не разбрасываются». В общем-то она права, конечно, у них напряженка с квалифицированным персоналом. Недавно одна из процедурных ушла в декрет, так что пришлось взять совсем молодую девчонку после училища, которая не умеет толком даже капельницу поставить... Словно подслушав его мысли, как бывало нередко, Ромашка подытожила:

– Я новенькую ей в подмастерья дала, Лену, чтобы научила ее всему...

– Вера... Чего ты от меня хочешь? Мне кажется, это непрофессионально и просто низко – вести себя, как Валентина. Хочешь, чтобы я изменил свое мнение на ее счет?

– Чтобы вы изменили свое решение. А мнение может оставаться прежним, – улыбнулась Ромашка безмятежно. Ох и бестия... Арсений чуть было не улыбнулся в ответ, но сдержался, сжал губы и для пущей убедительности нахмурился:

– Твоя взяла. Дадим еще один шанс Валентине.

Ромашка с готовностью кивнула и поднялась:

– Спасибо.

– Один, Вера, – Гаранин поднял указательный палец. Медсестра улыбнулась снова, и он был готов поклясться, что в глазах ее плеснулось торжество, точь-в-точь рыбка на середине тихой заводи. Ладно, Ромашовой это позволительно. Пусть думает, что уломала заведующего отделением... По правде, Арсений и сам знал, что процедурную медсестру выгнать нельзя, но, не заступись за нее старшая, это о многом сказало бы. А так – все хорошо, позволил себя убедить, а заодно выведал, как Ромашка относится к подопечной.

День в горбольнице пошел своим чередом. Летучка по отделению, совещание у главврача, на котором все чуть не порвали глотки, пытаюсь поделить скромное муниципальное финансирование на следующий квартал; обход, плановая операция, легкая истерика дочери старенькой пациентки из пятой палаты, обед в столовой.

Гаранин как раз лениво гонял вилкой выдавший виды зеленый горошек по тарелке, когда рядом бухнулся о стол тяжелый поднос. На нем стояла тарелка грибного супа, затянутого желтыми масляными кружочками, котлета с пушистым пюре, две булки: одна в сахарной обсыпке, другая с вишневым повидлом. И чай – кирпичная жидкость за толстым граненым стеклом. Лариса Борисовская спустилась перекусить.

Она чмокнула Гаранина, тут же чуть послонила палец, стерев с его щеки след от своей помады, и села напротив – румяная, сдобная, с блестящими желтыми, как у кошки, глазами и покачивающимися в ушах массивными серьгами из крикливой ростовской финифти в серебряных завитушках. На белой пышной груди покоилось, как на этажерке, такое же расписное кольцо. Борисовская испытывала страсть к броским украшениям, носила их в ушах и на груди, видимо, компенсируя невозможность украшать руки. Как врачу (и особенно – гинекологу) в перстнях и кольцах ей было отказано заведомо.

– Ну что, дружок, червячка моришь? – хохотнула она.

– И ты, как я посмотрю, не голодаешь, – в тон ей откликнулся Гаранин. Она с аппетитом вонзила зубы в плюшку с повидлом, вгрызаясь в самую сердцевину, где послаще. И с завидным удовольствием, закатив глаза, пробормотала неразборчиво, смахивая крошки с губ:

– Мечтала об этом полдня... У нас всегда по четвергам такие привозят, замечал? Только по четвергам.

– Вот уж на что не обращаю внимания...

– А ты бы обратил! Вкуснятина! – Она в три укуса справилась с плюшкой, запила чаем и успокоенно улыбнулась:

– Теперь можно и пообедать... Слышала, у тебя коматозница новая.

– Ты-то откуда знаешь? Лучше б про бюджет на следующий квартал спросила.

– А! – Лариса махнула рукой. – Гинекологии все равно ничего не причитается.

– Не прибедняйся, пожалуйста. Вы только и живете, что на благодарностях от успешно разрешившихся чиновничьих жен.

– Так и я ж о том. Но официально – ни-ни. Так что там коматозная-то?

– Лежит, – буркнул Гаранин. – Что ей сделается. Технически она не в коме, а на препаратах. Отек был, решили перестраховаться.

– И ни имени, ничего? – уточнила Борисовская, вылавливая из супа рыжий скользкий китайский опенок, ничего общего с опятами на самом деле не имеющий. – Девчата болтают, ее на насыпи за парком Пионеров-Героев нашли. М?

Борисовская испытующе всмотрелась в Арсения.

– Я как-то больше по медицине... – и уголок его рта мелко дернулся.

– Ох, Гаранин, будь ты проще, сколько раз тебе говорить! Вот не может быть, чтобы тебе не было интересно. Это ж даже не сплетни, это – про-ис-шест-вие! Если не городского, то районного масштаба. И не просто с кем-то там... а с твоей пациенткой. А может, кто-то что-то видел и сейчас вспомнит, и это поможет найти уroda, который такое сделал, а? Ты ж ей наркоз давал, неужели не любопытно...

– Вот именно поэтому, Лара, именно поэтому, – Арсений не дал ей договорить. – Я у стола стоял, прямо над ней. Видел и селезенку ее разорванную, и почечную ножку, оторвавшуюся от почки. И что на ней живого места нет ни снаружи, ни внутри. Ее даже опознать невозможно, потому что вместо лица – фарш, будто только что из мясорубки... Знаешь, был такой старинный рецепт у красавиц девятнадцатого века – на ночь привязывать сырые телячьи котлеты к щекам, для хорошего цвета лица... Я вспомнил об этом чертовом рецепте четыре раза, пока стоял там. Я могу представить себе по секундам, шаг за шагом, что с нею вытворял этот нелюдь. И именно поэтому как-то вообще не хочется об этом думать и что-то представлять. Особенно за обедом!

О нет, он не боялся испортить себе аппетит, его врачебный желудок и не такое выдерживал. Но во всем этом ажиотаже ему почудилось что-то неправильное, нездоровое. Все равно что собирать толпу зевак у места крушения. Борисовская суть уловила, но хмыкнула:

– Стареешь, батенька. Корабль профессионального хладнокровия дал течь.

– Ладно, кончай строить из себя циника и стерву, лучше булку жуй, – беззлобно отозвался Гаранин.

– Тебе бы бабу, – миролюбиво вздохнула Борисовская. – А то на куски разваливаешься, я-то вижу. То смотришь зверем, то хандрить целыми неделями. В понедельник стоял на лестнице и паялся в одну точку. За окно. Ни дать ни взять Рыцарь печального образа. Сонечка Мирошниченко с тобой дважды поздоровалась, а ты ее и не заметил. Я все вижу, Гаранин! Я твоя нечистая совесть. И общественное порицание тоже. Нельзя так.

– А как можно?

– Не знаю, как можно, зато знаю, как нужно. Тебе надо с кем-то общаться.

– Я с тобой вот общаюсь, – пожал плечами Арсений. Этот разговор перестал ему нравиться еще полгода назад.

– Ну что ты дурку валяешь? – возмутилась Ларка. – Сам же понимаешь, о чем я. Со мной он общается... Ты ж посмотри, какой общительный!

– Прекрати меня сватать. И хватит меня на женщин натравливать.

– Ой божечки, слово-то какое выискал! Натравливать! Кинг-Конг ты недоношенный, да ты от барышень наших бежишь сломя голову. Тебя натравишь, как же!

– Хватит, Лар, – Гаранин поморщился. – Я серьезно. Хватит.

На обратном пути из столовой Гаранин встретил Саню Архипову. Она, по-прежнему еще на костылях, ловко впрыгнула в распахнутую дверь второй травматологии. Рядом шагала ее жених – кажется, Федя.

– Привет, Саня.

– Здравствуйте, Арсений Сергеевич! – Ее белые веснушчатые щеки заволочло румянцем.

– Как самочувствие?

– Хорошо, спасибо! Вот, гулять пошли.

– Правильно, тебе полезно. Хотя в тихий час надо отдыхать. Тебя не потеряют?

– А они привыкли, я же вечно ношусь туда-сюда. Належалась уже, надоело, – мотнула головой девушка и нетерпеливо откинула со лба прилипшую прядку. Лицо сердечком, пухлые губки, россыпь ржанных веснушек по белой коже, а волосы – тугие апельсиновые пружинки, подпрыгивающие от малейшего движения.

Саня Архипова, которая сама себя со смехом называет Саней Франкенштейн, уже давно стала местной достопримечательностью. Скоро полтора года, как она здесь. В позапрошлом декабре ее на перекрестке сбила машина, как раз у южного входа на территорию больницы, куда она бежала навестить своего Федю, у которого было воспаление легких. Случись это где-то подальше, ее не спасло бы даже чудо, с такими травмами это было невозможно. Гаранин прекрасно помнил, как хирурги собирали ее по кусочкам. Саня, кажется, перенесла одиннадцать операций – настоящий Шалтай-Болтай, она постоянно переезжала из реанимации во вторую «травму» и обратно, приобретая то титановую пластину в череп, то аппарат Илизарова на правую ногу, то новый штырь в лучевую кость, то искусственный сустав взамен раздробленного. Но еще большим чудом была ее неутолимая и заразительная воля к жизни. Гаранин помнил и то, как она силилась улыбнуться, даже когда глаза не слушались и сами по себе сочились слезами от боли, и от них по обеим сторонам висков темнела подушка. А уж когда ей легчало настолько, чтобы передвигаться на кресле-каталке, Саня непременно принималась знакомиться с другими обитателями отделения, болтала с сестрами и посетителями, становясь понемногу экскурсоводом. Еще бы, за это время она разузнала о больнице и врачах столько всего – не каждый работник похвастается. Из разобранного на запчасти механического человечка в обтяжке тускло-серой кожи, человечка, измученного болью, наркозами и скальпелями, она теперь как-то незаметно превратилась в бледноватую красавицу с ямочками на щеках и отчаянно рыжими волосами, вьющимися мелким бесом. Хотя, конечно, поправил себя Гаранин, не превратилась, а вернулась в состояние, которое было до происшествия. Воительница Брунгильда, по воле случая закованная в броню ортопедического корсета, и с костылем вместо меча. Исхудавшая на больничных харчах, но это ничего.

От мыслей о Сане он как-то снова незаметно перескочил к своей неизвестной, Джейн Доу. С трех до четырех в стационаре тихий час, но у коматозных двадцать четыре часа в сутках – тихие, так что ее сон он не потревожит. Всего лишь заглянет проверить...

Сразу после операции Гаранин определил неизвестную к Баеву, в первый бокс, напротив поста. Шестидесятилетний Баев впал в кому три недели назад после несчастного случая, когда его катер перевернулся на середине реки прямо у главной набережной. Вскоре показатели упали, и из глубокой комы он перешел в запредельную. Баев-младший, довольно известный в городе предприниматель и хозяин трех пиццерий, исправно платил за улучшенное обслуживание для отца, но сам в больнице не появлялся после единственного раза, когда пришел все устроить. Гаранин предполагал, что тот вряд ли будет в восторге, когда узнает, что у отца в улучшенном боксе появилась соседка, а впрочем – какая разница?..

В палате стоял горьковатый и неживой запах кварцевой лампы. Арсений уже был здесь утром во время обхода, но еще раз изучил показатели жизнедеятельности. Оксигенация, ЧСС, давление. Осложнений нет, аллергических реакций тоже. Свежие рентгеновские снимки показывают, что отек немного спал. Совсем чуть-чуть, едва заметно – но Гаранин все равно обрадовался: динамика есть. Он примостился на подоконник и долго всматривался в бесформенные очертания на койке. По сравнению с Баевым, опрятным стариком, прикрытым до груди простынкой и клетчатым одеялом, неведомая Джейн – кокон из бинтов, повязок и гипса. Пучок проводов, шнуров, трубок и катетеров. В капельнице зачарованно капает препарат, капля за каплей, как будто сама жизнь вливается в вену. Изредка попискивают приборы.

Кто она? Почему ее никто не ищет? Неужели никому в этом мире не важно, где пропадает хрупкая (Гаранин точно помнил, как медсестра назвала ее рост и вес, да и наркоз он рассчитывал по комплекции) черноволосая девушка двадцати пяти лет? Она не вернулась домой, не пришла на следующий день на работу или учебу, ее мобильный «выключен или находится вне зоны действия сети». Удивительно, Гаранин видел всю ее изнутри, видел ее кровь, сочащуюся из сосудов, пока края ран гроздьями не увешали зажимы, он может пересчитать в уме количество лигатур, помнит желтоватую остроту ее костей, но не узнает ее по фотографии, даже если снимок сунут прямо ему под нос. Ее зрачки, когда он светил фонариком под лиловые запавшие веки, заполонили собой все, но, кажется, глаза у нее серые. Безликая, безымянная, настоящая стопроцентная Джейн Доу. Он не соврал, когда сказал Борисовской, что может досконально восстановить картину ее пыток – иначе как пытками то, что с ней сделали, не назвать. Настоящее истязание, и изнасилование было отнюдь не самым страшным и не самым болезненным тоже. Хорошо, что не ему пришлось писать медицинское освидетельствование для следователей, этим занимался Володя как оперировавший ее хирург.

Арсений подошел ближе. Из провала рта торчала трубка, ведущая к аппарату ИВЛ, все остальное почти полностью покрывали повязки и гипс. Глаза заплыли гематомами, неприятные пухлые сиреневые складки в просветах бинтов... Будь она в сознании, ей все равно не удалось бы их разлепить. И тут взгляд его опустился к ее левой руке. Она лежала совершенно целая, невредимая, тыльной стороной вверх. Бирюзовые вены, как дельта неведомой тропической реки, текущей по запястью. Выпуклый холм Венеры, от которого вглубь ладони бегут перепутанные линии ненаписанных еще историй. Он совершенно отчетливо помнил, как с тоненького мизинца уже в операционной снимали латунное колечко. Где оно, интересно... Наверное, передали Грибнову. Лака на ногтях при поступлении не было, так что стирать не пришлось, розоватые овалы испещрены крохотными белыми пятнышками. Под ногтями по-прежнему буро от крови и земли.

В боксе стремительно материализовалась Ромашова. Арсений повернулся к ней:

– Образцы чужой ДНК с нее снимали?

– Да. Мазки брали.

– У нее под ногтями кровь. Может быть, ее собственная, а может, и насильника. Соскоб нужен.

– Сделаем, – кивнула Ромашка.

III

С работы он вышел в начале седьмого. Солнце стояло еще высоко, и по двору больницы мело жарким ветром, который, казалось, нес с собой охристую выжженность далеких среднеазиатских степей, шелкающие от зноя травы, коричневые лица худых детей и неодобрительное цоканье стариков: «Суховой...» Над мощным тротуаром суетились клочья тополиного пуха, заверчиваясь в вихорьки. «Будто призраки гоняются друг за другом», – подумал Гаранин. Из куста шиповника цыкали кузнечики, и большой шмель, то присаживаясь, то взлетая с низким рассерженным гудением, пытался забраться в цветок с отогнутым трепещущим лепестком.

Сколько он знает эту больницу, все было таким же и двадцать лет назад, и тридцать. Здесь все его бытие. Кажется, двор горбольницы – это первое, что Арсений Гаранин вообще запомнил в своей жизни. Младенческое полуразмытое воспоминание, почти как на киноплёнке: ясный день, опрокинутое небо все в белую крапинку, и колоннада, обнимающая фасад. Мама и еще какая-то женщина в белой косынке (или, быть может, это была медсестринская шапочка) заглядывают в коляску, и он видит их круглые, непомерно большие лица,

заслоняющие облака. Странно, ему всегда казалось, что стены здания в то время были розовыми, хотя мать и утверждает: за все сорок пять лет ее работы в больнице стены не перекрашивали в иной цвет, кроме желтого.

Ему суждено было стать врачом, как говорится, на роду написано. В первой горбольнице всю жизнь проработали его родители: Елена Николаевна – педиатром, а Гаранин-старший – хирургом и заведующим кардиологии. На прием к профессору Сергею Арнольдовичу Гаранину записывались за пару месяцев, приезжали со всего района, иногда – из соседней области, а чехословацкий полированный секретер, что стоял в его домашнем кабинете, постоянно пополнялся коробками шоколадных конфет и бутылками всевозможных калибров, из-за чего в определенный момент и сам секретер стал называться в семье не иначе как «бар». Более материальной благодарности от пациентов профессор Гаранин никогда не принимал. Конфет было так много, что сам вкус детства у Арсения до сих пор ассоциируется со старым, покрытым беловатым налетом шоколадом. Он помнит, как не разжимались забетонированные ореховым грильяжем челюсти, как из коробки «Птичьего молока» он пытался незаметно выудить только конфеты со сливочным суфле (лимонное и шоколадное он не переносил, а потому втихую надламывал каждую), а из ассорти – только с начинкой из белой помадки.

В подростковом возрасте Арсению доставляло странное удовольствие представлять, что и зачат он был где-то здесь же, в кабинете врача или, может, в смотровой или сестринской, на жесткой клеенчатой кушетке, во время ночного дежурства. В этой воображаемой реальности с отца слетал его постоянный лоск и ореол безупречности, и Арсений часами представлял его в самых нелепых позах, с неловкими дрожащими пальцами, то со спущенными штанами, то застуканным в самый ответственный момент. Почему-то маму эта фантазия никак не очерняла и вообще касалась едва заметно, самым краешком.

На самом-то деле родители были совсем другими. Дрожащие пальцы у отца? Нонсенс. Он не брал в рот ни капли спиртного, не занимался никакой работой по дому, и боже упаси донести тяжелые сумки из магазина – такого не случилось ни разу. Отцовские руки были предметом семейной гордости и трепета, Елена Николаевна даже заботилась о них словно бы отдельно от самого мужа. Впрочем, Сергей Арнольдович этой заботы почти не замечал, точнее, принимал как должное. Ему не приходило в голову спросить, как полмешка картошки переместились с рынка на застекленную лоджию и каким образом в кухне перестала искрить неисправная розетка. Домой отец приходил поздно, уходил рано, проводя иногда по несколько операций в день, пару-тройку раз в году уезжал на конференции и научные съезды, публиковал статьи в «Медицинском вестнике», читал лекции в мединституте. Присутствие его в квартире тоже было зыбким, под дверью отцовского кабинета допоздна лежала полоса зеленоватого света, и заходить в *ту комнату* маленькому Арсению строжайше запрещалось. Казалось, что там, за дверью, происходит какое-то темное волшебство, и, если открыть дверь, все потонет в яркой вспышке, а нарушителя перенесет куда-то в неведомый и опасный край, где придется сражаться с летучими обезьянами.

А еще Арсению запрещалось шуметь, когда профессор отдыхал. Тот редко ночевал с Еленой Николаевной в общей спальне, чаще стелил себе прямо на диване коричневой кожи, что стоял – и до сих пор стоит – в оконной нише кабинета. Из-за того, что отец тяжело работал и нуждался в полноценном отдыхе, Гаранины забрали сына из второго класса музыкальной школы, хотя тот умолял позволить ему заниматься дальше. «Арсений, тебе негде репетировать, ты же знаешь... А без тренировок ты станешь самым отстающим. Ты ведь не хочешь отставать от других ребят?» – улынулась ему мама. Ее глаза требовали понимания. А он сам в тот момент лишь хотел сжать ее руками и уткнуться лицом в грудь, чтобы в горле и глазах перестало першить. Но такие проявления чувств были не приняты в их доме.

Родители никогда не ругались. Гаранин даже теперь не мог припомнить случая, когда отец повысил бы голос на мать, или когда она поворчала бы и бросила ему какой-нибудь упрек. В доме всегда было мирно. Ни музыки, ни громких звуков, радио включали изредка и едва слышно, и Елена Николаевна даже готовить умудрялась тихонько, лишь слегка позвякивая половниками и сковородками. С мужем она никогда не спорила, да и разговаривала довольно редко, обычно сводя общение к нескольким незначительным фразам – вроде того, как прошел день. Ни она, ни профессор Гаранин не отличались буйным темпераментом, составляя на редкость уравновешенную пару. Когда в его присутствии поссорились родители одноклассника, – громко, безобразно, с площадной запальчивой бранью и даже со швырянием мокрого кухонного полотенца друг в друга, – Арсений вернулся домой угрюмый и встревоженный и задал отцу вопрос, чего вообще-то с ним не случилось. Он спросил:

– Пап... а почему вы с мамой никогда не ссоритесь?

– Потому что я ее очень уважаю, а она меня. Люди кричат, когда не могут найти других аргументов или не владеют собой. И то и другое прискорбно. И выглядит мерзко и жалко. Да, я уважаю твою маму и не собираюсь оскорблять ее ни словом, ни поступками.

Слышавшая это Елена Николаевна улыбнулась и посмотрела на мужа ласково и восторженно. После этого она поставила опару и к вечеру испекла пирог с рыбой и рисом, фирменное блюдо, присутствовавшее до сего дня лишь на новогоднем столе. Только много лет спустя Арсений осознал, что это был, пожалуй, один из самых эмоциональных моментов в его семье и между его родителями.

За ужином у Гараниных частенько царил молчание, прерываемое только просьбами передать вилку или хлеб. Обычно Сергей Арнольдович за едой просматривал студенческие курсовые или новый выпуск медицинского альманаха. Однажды Арсений, беря с него пример, положил перед собой дочитанный на три четверти приключенческий роман и принялся уплетать макароны по-флотски.

– Убери книжку, пожалуйста. Испортишь себе желудок, – проговорила мама. Несмотря на мягкость, в ее голосе присутствовала нотка, из-за которой совсем не хотелось спорить. Но Арсений все же попробовал:

– Но папа всегда читает за столом...

– Если бы ты был, как папа, тебе это позволялось бы. Но ты ведь не он, – приподняла она брови с укоризной. Сергей Арнольдович отвлекся от чтения и взглянул на сына поверх очков. Его взгляд как-то по-особенному сфокусировался, так что Арсений моментально почувствовал себя нескладным, будто влез в одежду на два размера меньше и она давит ему в плечах, а из рукавов торчат тощие руки. Пятнышко чернил на запястье почудилось целой огромной кляксой, и он вспомнил, что уже несколько дней не гладил пионерский галстук. Ничто из этого не укрылось от профессорских глаз.

Сергей Арнольдович отпил из стакана, потянулся через стол и подцепил пальцами книгу за корешок – так, будто держал змею или насекомое. Повернул обложкой к себе:

– А, Томас Майн Рид... Я думал, ты уже перерос такие книженции.

Арсению тогда только исполнилось двенадцать.

Дачи у Гараниных, конечно, не было, зато имелась бабуля Нюта. Арсений до первого класса думал, что так звучит полное имя этой пожилой улыбчивой женщины: Бабулянюта. А может, это ее семейное положение или профессия... Ее крупные ладони, больше подходящие заводскому работяге, пахли овечьей шерстью, которую она вечерами спрядала в крепкую нить. Бабуля Нюта носила короткостриженные волосы с хохолком и торчащей челкой и цыганские цветастые юбки, на каждую из которых уходило ткани больше, чем на иное покрывало. Она жила недалеко от города, в большом деревенском доме с верандой, опоясывающей первый этаж, и долгое время вдовствовала после того, как ее первый муж, отец Елены Николаевны, погиб на фронте. Повторно она вышла замуж, когда Арсений уже ходил в школу.

И несмотря на то, что поначалу Арсений отнесся к новому деду настороженно (Толик был слишком уж пугающе громогласным), вскоре они поладили.

Эта супружеская парочка разительно отличалась от родителей Арсения, они постоянно пересмеивались и переглядывались, хохот бабули Нюты был слышен через три огорода, а Толик при случае мог завернуть что-нибудь настолько витиевато-матерное, при этом подмигнув ласковым хмельным глазом, что у Арсения вспыхивали щеки и уши. Толик гнал самогон и ставил яблочный сидр, вдоль стен порой выстраивался с десяток темно-зеленых стеклянных бутылей с натянутыми на горлышко растопыренными перчатками, которые Арсений пожимал, бывало, когда никто не видел. Ядреный запах бражки плыл по летней кухне до глубокой осени. По вечерам бабуля Нюта пела то романсы, то частушки, а Толик подыгрывал ей на аккордеоне, и Арсений как зачарованный следил за бегом его загорелых пальцев с серыми заусенцами по костяным клавишам. Характер у обоих был непростой, но отходчивый, и Гаранин до сих пор не мог сдержать улыбку, когда вспоминал тот случай с рассольником.

– Пересолила ты, мать, – пробурчал Толик, пробуя суп с ложки. Бабуля Нюта с самого утра была не в духе, повздорив у калитки с соседкой. Так что Арсений вполне мог предположить, что Толик говорит правду, хотя сам поостерегся бы жаловаться.

– Дружок, что ж ты городишь, это ж рассольник! Тебе туда сахару, что ли?

– А я говорю, пересолила.

– И что? Есть не будешь? – в голосе бабули Нюты послышалась угроза. Но, видно, Толику тоже было невесело, и он решительно отодвинул от себя тарелку.

– А и не буду.

– А и не надо!

Никто не успел и ахнуть, как бабуля Нюта подцепила рубаху Толика и одним махом выплеснула суп ему за шиворот. Хорошо, что кастрюля рассольника к тому моменту остывала на плите уже больше часа.

Толик побагровел и медленно встал. Вид у бабули Нюты был все такой же воинственный, руки в боки, но в глазах уже зарождалось сожаление. А Арсений и вовсе вжался в стену, надеясь провалиться вниз, куда-нибудь в погреб... С полминуты муж и жена сверлили друг друга глазами, потом Толик несмело повел мокрыми плечами:

– От баба... Лучше б сахару сыпанула в супец, чем супец – за пазуху, ей-богу.

Бабуля Нюта прыснула, как девчонка, а Толик тут же захохотал басом. Арсений смотрел на них во все глаза и не мог понять, что же это было – и как к этому относиться. Подобная сцена никогда, даже в фантазмагорическом сне, не могла произойти с Еленой Николаевной и Сергеем Арнольдовичем Гараниными...

Арсений любил проводить в деревне целое лето. Он плавал на лодке, купался в реке, по вечерам зачитывался на сеновале книгами, глядя сквозь щели в дощатых стенах на пламенеющее зарево заката, слушая мычание колхозного стада и незамысловатую ругань пастуха. Иногда Толик гонял его на покос, работа эта была тяжелой, а для городского юнца вроде него и вовсе непосильной. Слепни летали вокруг и жалили, трава кололась, ладони стирались в кровь, плечи ломило, голову пекло, кожа обгорала на солнце до волдырей.

– Ничё-ничё, держись, – подбадривал Толик, посасывая изогнутую козликом папиросу. – Мужик ты или не мужик? Профессором быть не обязательно, а вот мужиком надо непременно!..

И Арсений терпел. Ему доставляло удовольствие чувствовать, как легко идет лезвие косы, срезая мокрую от росы траву – как только солнце поднималось выше, влага испарялась, и кошение тут же оборачивалось мучением. Поговорка «коси, коса, пока роса» приобретает и смысл, и краски. А потом, дома, пока обед еще пыхтел в печи, бабуля Нюта давала им по большой чашке тюри – крошеного белого хлеба с молоком, и не было ничего вкуснее...

Арсению нравилось думать, что так закаляется его характер, что он не городской неженка больше, не профессорский сын. И вот уже его ладони стертые, кажется, не рукояткой крестьянского инструмента, а толстыми канатами, пропитанными морской солью, на каком-нибудь корабле посреди океана. И сам он юнга, и плывет в неведомые земли, и настанет тот день, когда он непременно сразится с врагами, будет спасать людей и станет капитаном...

Для этой судьбы он считал себя недостаточно крепким, сильным, бесстрашным. Поэтому не проходило и недели, чтобы он не придумал себе нового испытания. Арсений ходил пешком в соседнюю деревню в десяти километрах, по четыре раза без остановки переплывал реку, едва борясь с течением, не спал по двое суток, представляя себя вахтенным, которого не пришли сменить, и несколько полнолуний подряд ночевал на кладбище.

Комары одолевали его страшно. «Сладкая кровь», – объясняла ему бабуля Нюта, которую насекомые не трогали вовсе. Как-то вечером, желая натренировать силу воли, он отправился на реку, отвязал лодку от старой узловатой ветлы и поплыл по речной протоке, делающей у деревни круг. На закате комарья над водой становилось особенно много, им кормилась рыба, и временами вода словно закипала от мелкого бурления. Тогда Арсений стащил через голову выцветшую футболку и замер едва ли не в позе лотоса, позволив комарам безнаказанно питаться собой. Он не шелохнулся, пока лодку течением не пригнало на выбранную им изначально точку, и не почесал ни один укус. Когда он вернулся, бабуля Нюта ахнула: вся кожа его покрылась вспухшими пятнами. И несмотря на подскочившую температуру, Арсений был ужасно доволен собой. Он лежал в темноте, стиснув зубы, пока тело гудело и зудело, как трансформаторная будка под напряжением, и мнил себя победившим в бою.

Он не стал моряком. Родители были категорически против того, чтобы он покидал родной город и поступал в мореходку.

– Где родился, там и пригодился, слышал такое? Никуда ты не поедешь. Ты мой наследник, и, честно говоря, у тебя есть что наследовать, – таков был вердикт отца.

Однако поступив в мединститут, Арсений все же не стал хирургом, чем раз и навсегда разочаровал профессора Гаранина.

Толик и бабуля Нюта держали скот. Их хозяйство насчитывало пару десятков кур, несколько гусей, корову с непременным теленком, коня и двух-трех свиной каждый сезон. Лет с пятнадцати Арсений помогал Толику закалывать кабанчика и разделывать тушу. После каждого такого действия он до вечера ходил сам не свой, руки помнили теплоту крови и внутренностей, от которых шел пар, если дело было к Седьмому ноября. В ушах стоял визг, а в носу – вонь требухи, и глазам было красно от вывернутой свиной плоти. Но хуже всего было ощущение надвигающейся смерти. Арсений не мог сообразить, как именно животное понимает, что сейчас его будут убивать, – но понимает совершенно точно. Еще не видно ножа, еще ничто не предвещает страшного, но только зайдешь в свинарник, кабаны в загоне уже верещат, хрюкают и забиваются подальше. Узнавать в их круглых бестолковых глазах с короткими ресничками самый главный страх – вот что тяжело. Арсений многое отдал бы, чтобы облегчить его и унять боль умирания, облегчить переход. Но тогда он этого еще не мог...

IV

Неизвестно, что именно подтолкнуло Арсения запустить маховики памяти, но колеса раскрутились, и он почти уже не замечал пути, хотя, кажется, переминался на остановке, ехал куда-то на трамвае, переходил перекрестки. «Куда глаза глядят» – было бы неверным описанием – его глаза были обращены зрачками вовнутрь, они исследовали глубь времен, самые истоки его истории, когда можно было сделать миллион других выборов, но он сделал ровно те, что привели его в день настоящий и к нему сегодняшнему. День этот должен был

закончиться, как и сотни дней до него, но что-то пошло не так, где-то в луковых слоях жизни попался один, не похожий на остальные. И теперь Гаранин удивленно моргнул и остановился, озираясь по сторонам и еще не вполне понимая, где находится.

Парк Пионеров-Героев. Мелкая крошка скрипит под подошвами, красные с черным крапом жуки-пожарники копошатся в бетонных трещинах, выползают и снова прячутся. Раскидистые липы шелестят и перешептываются над щербатыми дорожками, засыпанными липовым цветом и прошлогодними, еще медно-сухими листьями, которые легонько трогает ветер. Зина Портнова, Марат Казей, Володя Дубинин, Леня Голиков, Валя Котик, Жора Антоненко, Петя Клыпа... Гаранин перечислил их имена по памяти, даже не глядя на таблички под старыми, давно не чищенными бюстикками на высоких цилиндрах постаментов. Сейчас он уже не рискнул бы рассказать повесть каждого из погибших ребят, как когда-то на уроке истории, когда одноклассницы ревели и вытирали слезы платочками, – все они сливались в одну, с радостным идиллическим началом и мрачной развязкой где-то посреди залитых дождем, расквашенных полей, развороченных взрывом берез и черной крови на мерзлой земле. С пионеров мысль его скакнула к Зое Космодемьянской, замученной героине войны, со звонким голосом, последние слова которой сохранились в веках и все звучат, звучат и будут звенеть так до бесконечности. А ведь в сущности... Голос ее вполне мог быть глухим, сорванным, простуженным, сама она могла быть вздорной или завистливой, да и вообще вовсе не подарком – с обычной точки зрения. История, как он слышал уже в перестройку, происходила довольно темная и мутная, но размышлять об этом не хотелось, это будило в душе неудовольствие и тревогу. Гораздо лучше оставить ее такой, нарисованной бело-кумачовыми красками патриотизма и Победы. Людям нужны герои, нужны святые. Без них тяжелее.

Он не сразу осознал, что в сумбуре мысли о легендарной Зое как-то неуловимо слились, схлопнулись с образом его неизвестной из первого бокса реанимации.

Мученицы. И та и другая. Как возвеличивает человека страдание, удивился Гаранин. Представляя себе черноволосую Джейн Доу, какой она была до всего приключившегося с нею. Он почти наяву видел жизнерадостную красавицу, окруженную любящими ее близкими людьми, умненькую, улыбчивую, не мыслящую зла. Спортсменка? Возможно. Отличница? Определенно. В меру шаловлива, в меру благоразумна – этакий светлый ангел. А какие у него основания? Он не знает о ней ничего. Ведь вполне может статься, что Джейн в своей реальной жизни хамит соседям, плюет с балкона, угрожает трем бывшим мужьям и семь лет не разговаривает с матерью. Он не знает ее настоящей, она для него – лишь миф, придуманный им самим, и причина тому – пережитые ею страдания, те истязания, которые отвратительно даже представлять, потому что неизбежно возникает вопрос: а выдержал бы он сам, если бы такое произошло с ним, с его телом? Она умоляла, рыдала и визжала наверняка. В происходившем не было ничего героического. Но то, что она прошла через эту боль, уже сделало ее на порядок выше живущих рядом. А того, кто совершил это с нею, отбросило на самое дно, в мерзостную гниль нелюдей.

И случилось это совсем неподалеку. Вот почему ноги принесли его в парк: он продолжал думать о безымянной Джейн, даже когда мысли его были заняты им самим.

Гаранин сориентировался на местности. Кажется, Ларка говорила о железнодорожной насыпи? Или это упомянула медсестра в операционной? Так или иначе железная дорога, делая петлю, подступает прямо к задней части парка Пионеров-Героев, оцепленного в том месте лишь забором.

Всматриваясь в лица редких прохожих, большую часть из которых составляли дети на велосипедах и матери с колясками, полностью погруженные в собственные мысли и будто дремлющие на ходу, Арсений миновал аллею с памятниками и дощатый навес старой эстрады, на котором кто-то с поразительным умением изобразил Чебурашку. Милый несурраз-

ный зверь, которого и в природе не существует... Порыв ветра донес до чуткого носа Арсения запах гнили и нечистот: в кустах за навесом, в отсутствие иных альтернатив, давно уже образовалось отхожее место. За эстрадой начинались сплошные заросли дурноклена, затянутого вьюнами. Весна в этом году выдалась ранняя и влажная, и к июню зелень успела заполнить все, заматерев и сменив салатовую невинность на темную густоту, дышащую прохладой и прелью.

В этой части парка ему уже никто не попадался, да и парком здешнее пространство было уже номинально: терялись всякие приметы цивилизации. Лишь тонкая тропка, вьющаяся меж кустов, еще робко напоминала о том, что здесь кто-то бывает. Арсений не был так уж уверен, что идет в правильном направлении, хотя он слышал мерный стук колес проходящих мимо поездов и переключку их гудков в знойном воздухе. Это отправляло его назад во времени, в те дни, когда он блуждал по лесам в окрестностях деревни, аукая и прислушиваясь к эху, которое всегда морочило его, отзываясь отовсюду – и ниоткуда, пока не начинала кружиться голова.

Наконец, тропинка вильнула в сторону – Арсений шагнул наобум, так что ботинок скользнул по вязкой жиже небольшого оврага и черпнул через верх зеленоватой зацветшей воды, – и вывела к забору из натянутой на широкие рамы ржавой сетки. За забором взмывала вверх, растягиваясь в обе стороны, рыжая железнодорожная насыпь. Раз и навсегда размеченная верхушками светло-серых бетонных столбов, она выглядела обманчиво-безмятежной под простирающимся небом.

Гаранин на минуту остановился. Сетка-рабица словно создана для того, чтобы растопырить руки и погрузить пальцы в ее ячейки, чувствуя, как шероховатая проволока давит на кожу в том самом месте, где одна фаланга суставом сочленяется с другой. Если долго смотреть сквозь сетку, покачивая головой и стараясь расфокусировать взгляд, то вскоре все начинает двоиться, и вот уже кажется, будто реальность заменяется голограммой и все чуточку не по-настоящему. Он все еще медлил, стараясь полностью ощутить это странное безвременье, внепространственность, порожденную оптической иллюзией. Эта сетка – будто граница между сном и явью, и можно остаться дремать, а можно проснуться. И решать только ему самому, нет ли будильника, ни обязательств. Однако и это обман: в момент принятия решения никогда не знаешь всей правды. Не располагаешь информацией, необходимой для принятия этого решения. Все мираж.

Арсений встрепенулся, вдохнув всей грудью смесь ароматов цветущего желтого и белого донника, сухой травы, влажного лесного подлеска, стоячей воды и маслянистого ядовитого креозота, жирный и острый дух которого источали каждой щепочкой пропитанные им потемневшие шпалы. И пошел. Он без труда отыскал дырку в заборе, клочок сетки, вырезанный явно не без помощи кусачек по металлу. Кто сделал это? Со злым ли умыслом или только от мальчишеского озорства?

На самом деле сейчас Гаранина волновал лишь один вопрос – где? Он пришел сюда не просто дышать жарким воздухом насыпи. Где все случилось? В том ли он месте, правильно ли понял Борисовскую? Здесь ли нашли его неизвестную?

Арсений отогнул кусок сетки и протиснулся в дырку, больно оцарапав шею проволочным краем. И ровно в тот самый миг, когда он ступил на другую сторону от забора, все пространство вокруг как-то неуловимо изменилось. Так меняется местность, стоит над нею раздаться протяжному волчьему вою: все остается по-прежнему, и все другое. Те же серо-рыжие камни, те же шпалы, тот же солнечный блик на укатанной до блеска поверхности рельса, те же покачивающиеся метелки желтого донника, синего цикория и пурпурного иван-чая, тот же душный запах. Но само небо налилось белой тяжестью, словно на него плохо натянули кусок прозрачного полиэтилена, и небосвод провис, коснулся земли, и этой насыпи, и самого Гаранина. И стало тяжело и мутно, и во рту появился навязчивый сладковатый

привкус. Это здесь, понял он. Где-то совсем рядом. Словно в само место врезался, вдавился невидимым оттиском недавно произошедший здесь ужас.

Не зная еще, что именно он ищет, Арсений стал медленно продвигаться вдоль насыпи, взглядом перебирая каждый камешек, каждый цветок, сигаретный и папиросный бычок, обрывок проволоки, блестящий конвертик от презерватива, смятую бумажку, выцветший обрезок молочного пакета, банку из-под газировки, сплюснутую до тонкости столовую ложку. Он и сам мальчишкой баловался так: клал на рельсы перед проходящим составом ложку или монету. После того как последний вагон мчался прочь, возле рельсов оставались истонченные зеркальные кусочки металла, и было во всем этом какое-то торжествующее кощунство. Нарушение запрета. Однажды он повторил опыт с трамваем и даже услышал, как противно-тоненько запел металл, раскатываясь стальными кругами колес.

Арсений прошагал, наверное, метров сто на северо-запад, не найдя ничего, кроме мусора, обычного для подобных оврагов вдоль железных дорог, и вернулся обратно к дырке в заборе. Рядом с ней приторный привкус тления, все еще не выветрившийся из его гортани, стал отчетливее. Захотелось сглотнуть. И тут же, через пять шагов, взгляд Гаранина споткнулся. Обо что – он сперва и сам не понял. Но в коленях и локтях поселилась ватная нерешительность, и тогда Арсений присмотрелся получше. Там, где насыпь вставала на дыбы, взмывая к путям, на пыльной щебенке темнели бурые пятна. Их можно было спутать с какой-нибудь масляной смазкой, мазутом или грязью. Но Гаранин слишком часто видел человеческую кровь, желеино-стынущую в ранах, чтобы обознаться.

Кровь уже давно спеклась и высохла, но все еще не утратила своего тихого голоса и все рассказывала, рассказывала. А Арсений умел слышать. Вот эти капли, похожие на черные солнышки, падали из разбитого носа Джейн Доу. Она стояла на четвереньках, должно быть, силилась подняться. Смазанные светловатые полосы – от ссадин на коленях, лодыжках, ладонях. Вот это большое пятно, вытянутое в сторону оврага, натекло от разбитой головы, когда она упала, оглушенная последним ударом. С противоположной стороны, ниже, в метре от того места, где лежала голова, – тонкая струйка, почти впитавшаяся в песок... Гаранин стиснул зубы и не стал заканчивать мысль. И так ясно.

Оставалось лишь надеяться, что полиция здесь уже осмотрелась. Наверняка забрали в качестве улики все, что этот подонок использовал: по характеру ран Арсений вполне мог предполагать и обрубок ржавой трубы, и бутылку, и горящие окурки, шнур или шланг. Если, конечно, все это происходило именно здесь, если он не бросил девушку умирать, притащив откуда-то из другого места. Арсений напомнил себе, что заниматься расследованием – не его работа, и не надо уподобляться доморощенным детективам-самоучкам, которых пруд пруди в кино и сериалах: на самом-то деле, в *реальной* жизни расследовать преступления не так уж легко. И уж точно не весело.

Ему захотелось выпить. Не просто пригубить вина, а напиться вдрызг, пусть даже в такую жару это самое неразумное желание. Желания вообще неразумны. Гаранин повернулся и направился к сетчатому забору, ругая себя за то, что вообще притащился сюда. Как теперь ему смотреть на свою безвестную пациентку без того, чтобы вспоминать каждый раз, как засохла на камнях ее кровь и как невыносимо пахнет на этой насыпи?.. Черт, Гаранин, чтоб тебя...

Сумку он увидел самым краем глаза. Давно уже сетка забора осталась позади, слюистый жар насыпи сменился прохладой влажных джунглей, по которым продиралась тропинка назад к цивилизации. Это вполне могла оказаться просто сумка, чья-то сумка, выброшенная, потерянная... Нет, ну правда – как часто люди в здравом уме теряют сумки? Не забывают в транспорте, в гостях или гардеробе, а вот так теряют, роняют на ходу, прогуливаясь по парку? Гаранин вытащил ее из-под куста и еще прежде, чем заглянул внутрь, точно знал, что сумка эта принадлежит его неизвестной. Большая, мешковатая, из разноцветной

гобеленовой ткани с коричневой замшевой бахромой, будившей невольную ассоциацию с ковбойскими пончо из старых вестернов. Один угол запачкан кровью.

Арсений осторожно поднял ее с земли. Тяжелая. Она была раскрыта, застегнутая молния вырвана с корнем. Прислонившись спиной к узловатому стволу ивы, куполом накрывающей эту часть тропинки, Гаранин заглянул внутрь.

V

Содержимое сумки Джейн Доу:

- початая упаковка жвачки со вкусом бабл-гама,
- тетрадь в твердом переплете, оранжевая в синюю полосу,
- использованный трамвайный билетик,
- гигиеническая прокладка,
- бесцветная помада с пантенолом,
- связка ключей, на брелоке два дельфинчика из давней коллекции киндер-сюрпризов,
- темно-вишневый блеск для губ,
- пачка влажных салфеток,
- резинка для волос,
- прозрачный резиновый мячик-попрыгунчик с зелеными блестками,
- деревянная расческа,
- книга,
- пластинка шалфейных леденцов от кашля,
- шариковая ручка с синим стержнем,
- круглая монета с квадратной дыркой посередине, перевязанная толстой красной ниткой,
- два пакетика с корицей в палочках,
- черный складной нож.

Наверное, вместо того, чтобы трогать сумку, нужно было позвонить тому полицейскому. Грибнову. Все же это улики. Но Арсений как-то не сразу сообразил. Соблазн узнать о неизвестной хоть что-то оказался слишком велик.

Ни паспорта, ни телефона, ни кошелька, содержимое которого могло бы подсказать имя хозяйки.

Нож лежал во внутреннем кармашке за замком. С черным клинком и черной вставкой из сандалового дерева на рукоятке он был красив и обманчиво надежен. Арсений взвесил его на ладони, уперся в шпенец большим пальцем и без труда открыл одной рукой. Нехитрый механизм работал как положено, лезвие выходило ровно, мягко, без рывков и затруднений. Тонкий режущий край светился серебром. Такая вещь в умелой руке могла стать и помощником, и защитником. Жаль, что она никак не защитила незнакомку. Гаранин захлопнул нож и с негодованием, будто тот был и вправду виноват, бросил его снова во внутренний кармашек сумки. И только после этого решил открыть оранжевую тетрадь в синюю полосу.

Толстую, листов на сто двадцать, линованную в клетку тетрадь в твердой обложке, с немного потертыми уголками, уже почти до середины исписали размашистым, жутко неразборчивым почерком. Уж не участковый ли она терапевт, подумалось Арсению почти с улыбкой: только ленивый не шутил над этой врачебной особенностью, связанной, конечно, не с неаккуратностью, а исключительно с торопливостью и постоянной нехваткой времени. Иногда на страницах попадались примитивные рисунки, стрелочки, домики, перышки и розочки. Однако стоило Арсению пролистать дальше, как он увидел на уголках страниц человечка с большими ослиными ушами. Этот образ повторялся на каждом следующем листе так, что,

если согнуть страницы и быстро, одним потоком пролистать их все, человек оживал и начинал шагать, помахивая рукой, а потом и вовсе разбежался и прыгал в большую лужу. Заканчивался бумажный мультфильм на том, что из лужи летели брызги, а на лице у человека растягивалась дурацкая улыбка до ушей. По-прежнему ослиных.

VI

Слушая визгливое жужжание станка, обтачивающего металлическую болванку для дубликата, Арсений все еще не мог поверить, что делает это. Точнее, наоборот, прекрасно верил и отдавал себе отчет в том, как странен, подозрителен и, в сущности, противозаконен его поступок. Он знал, что сумку со всеми вещами нельзя было даже осматривать, а вместо этого стоило бы пулей примчаться в полицию и отдать все Грибнову. Но нет же. Сначала он терпеливо отстоял очередь в душном почтовом отделении между старушками, обсуждающими пенсию, и молодой мамашей, тщетно пытающейся унять заходящегося криком младенца в коляске с поднятым капюшоном. Люди переговаривались, скандалили и беспокоились, что почта скоро закроется и они не успеют. Потом он отдал целое состояние за ксерокопии оранжевой тетради в синюю полоску – каждого листочка, включая те, на которых не было ничего, кроме шагающего человечка. И вот пожалуйста, теперь носком ботинка ковыряет присохший к ступеньке цементный плевочек, пока токарь в подвальчике трехэтажки вырезает ему дубликат чужих ключей. От чужого дома. Адреса которого он не знает.

Свет в каморку почти не проникал из крохотного узенького окошка под самым потолком. Над заваленным всяким барахлом столом, покрытым грязной фанерой, горела яркая лампа. Прежде чем мастер окончил работу, Гаранин успел рассмотреть и огромную доску с крючками, на каждом из которых висели разномастные заготовки для ключей, и икону в крикливом окладе со стразами, и скверный карандашный портрет женщины, приколотый к стене кнопкой. Разрезанное пополам яблоко «грэнни смит» уже начинало темнеть на срезе. Повсюду между станками, паяльниками и шлифовальными машинками валялись бумажки, обрезки резиновых прокладок, тряпицы с черными потеками, обрывки цепочек, дешевые брелоки, деревянные и обувные молоточки, гвозди, набойки, старые каблуки от уже не существующих сапог. С лампы свешивались карманные часы с корпусом желтого металла и миниатюрный белый череп, кажется – из пластмассы. Сухие, жилистые, поросшие темными курчавыми волосами руки токаря действовали размеренно и ловко. Слева от мужчины, зацепленные за полку, болтались маленькие боксерские перчатки-сувенир, по красному фону шла белая надпись «Armenia», и когда он встал, чтобы отдать Гаранину готовые ключи, то задел перчатки головой.

Клубились сумерки, когда Гаранин вернулся на работу, положил в стол копии тетради и ключей и нашел в бумажнике визитку с телефоном следователя.

– Вы смотрели, что там? Внутри.

На следующее утро все-таки пришлось везти сумку капитану Грибнову. Так уж он повернул разговор, чтобы выставить Гаранина просто-напросто обязанным. Когда капитан задал этот вопрос, сразу же, с порога, Арсения охватило молниеносное искушение солгать. Пришлось практически принудить язык произнести:

– Да. Смотрел. Более того, я почти все перебрал и повертел в руках. Так что прошу прощения за отпечатки пальцев. Они там наверняка повсюду.

– Ай-ай-ай, любопытный доктор, – Грибнов даже пальцем погрозил, как ребенку. Гаранина это буквально взбесило:

– А у нас это в крови! Профессиональное. Знать, что произошло, как произошло и что теперь с этим делать. К примеру, из-за любопытства, особенно врачебного, ваша рука, та, что с пулевым ранением, отлично функционирует, а не отгнила по локоть и не утащила вас

в могилу из-за сепсиса! Как непременно случилось бы, не будь у современной медицины антибиотиков, или рентгена, или кетгута. Они все – плоды любопытства. И эту девушку как раз сегодня закопали бы на Раевском кладбище. А вам на будущее, капитан, я посоветовал бы тоже быть поллюбопытнее. Меньше улик упустите.

Капитан Грибнов запыхтел, насупился, а потом мотнул вдруг головой и улыбнулся:

– А! Мне и похуже говорили. Любит наш брат других поучать, да?

Да что с ним такое? Чтобы перевести дух, Гаранину пришлось отвернуться к окну.

Капитан тем временем нашел в недрах стола носовой платок и, обмотав им ладонь, стал изучать содержимое сумки. Покосился на посетителя:

– Можно спросить, что вы там делали? В парке?

– Хотел увидеть собственными глазами, где все случилось. Она моя пациентка.

– Не вы ли говорили, что она пациентка хирурга...

– Моя. И нет, я такого не говорил. Потому что именно в моем отделении она лежит в медикаментозном сне. Я за нее ответственен. Еще вопросы?

– Вы так со всеми пациентами носитесь? Когда привозят жертву аварии, вы что, едете на место столкновения? А если кого глыбой льда прибило? Пристаете к коммунальщикам?

Гаранин промолчал. Капитан тем временем повертел и полистал оранжевую тетрадь.

– Читали?

– Читал.

– Еще бы. И что там? Есть интересенькое?

– Смотря что считать интересным. Там... поток сознания. Типа кулинарного дневника в свободном стиле. С отступлениями, заметками, цитатами, рисунками, – Гаранин старался говорить ровно, и с каждым новым словом самообладание возвращалось к нему.

– Ладно, товарищ доктор. Дальше мы сами, – деловито заключил Грибнов, нажав кнопку напольного вентилятора и зафиксировав его в одном положении. От струи теплого воздуха на столе зашевелились бумаги, а с пыльного цветка упал скрученный лист. – Остальным займутся эксперты. Спасибо за сознательность.

Гаранин кивнул. Он понимал, что надо уходить, но все медлил.

– Есть... подвижки? В следствии? – наконец, поинтересовался он.

Грибнов цокнул языком.

– Вот. Сумку потерпевшей нашли. Чем не подвижка?

Чтобы не отхлестать это мягкое красное лицо, Арсений торопливо покинул кабинет.

VII

Нужно было подумать. После визита в полицию Гаранин обеспокоился насчет своего психического состояния. В самом деле, что с ним такое творится? Допустим, это все вовсе не из-за черноволосой неизвестной. Допустим, из-за годовщины. Двадцать седьмое июня. Два года. Но ведь уже два года! Это много, пора смириться и отпустить. Сердце вот только не на месте, и от тревоги наизнанку выворачивает.

Однако сегодня надо взять себя в руки, непременно надо. Кто он? Арсений Гаранин? Нет. Он врач. Это превыше всего, и это всегда было ему прекрасно известно. А раз он врач и заведующий отделением, у него нет ни времени, ни права вот так расклеиваться, нервничать и носиться по городу в поисках незнамо чего. У него нет времени и права ни на что, кроме работы. Потому что от его работы зависит жизнь других людей. Вот что банальность, и вот что всегда твердит ему отец; и пора бы вернуться к тем принципам, которыми он руководствуется всю сознательную жизнь. Как врач, он давно уже навиделся всякого и привык не пускать эмоции в рациональную область своей работы.

Впервые за многие годы ему пришлось осознанно напомнить себе об этом на операции Джейн Доу. Он сразу почувствовал, что теперь все пойдет наперекосяк. Гаранин видел это тело и не мог отделаться от мыслей, насколько болезненно все то, что с ним происходит. Раньше, стоя над операционным столом, Арсений глядел, не моргая, как скальпель рассекает человеческую кожу, плотную, неприятно голубоватую в свете операционных ламп, и как из разреза выступает кровь, сперва крохотным пунктиром круглых капель и тут же, почти мгновенно, – широкой полосой. Теперь же он думал, как резко и сухо ощущается боль, если полоснуть по пальцу кухонным ножом. Как ноет колено, если ударить его о твердый подлокотник дивана. Как волнообразна электрическая боль, расходящаяся от локтя, когда въедешь им в острый край стола. Как жгуче пульсирует ожог, если запястьем случайно прислониться к нагретой решетке духовки или баку в котельной. Как неотступно и навязчиво зудит комариный укус на суставе пальца или голеностопа, и как разрывается голова от воспалившегося зубного нерва. Все эти неприятные ощущения даже близко не имеют ничего общего с тем, какая боль раздирает тело несчастной неизвестной девушки, чьи внутренности сместились с привычных мест, чья кожа сплошь покрыта багрянцем гематомы, к чьим ранам скоро прилипнет пропитавшийся лимфой и кровью бинт, чьи заточенные обломки костей впиваются в истерзанное мясо, пронизанное нервными окончаниями и призванное сейчас причинить самые невыносимые мучения. «Хорошо, что не я хирург», – с облегчением подумал Гаранин тогда. Он не смог бы орудовать скальпелем, зажимом и иглой, еще больше нарушая целостность этого человека, беззащитно покоящегося на столе.

И хорошо, что в его власти держать ее в благословенном наркотическом сне, чтобы не позволить болевым сигналам терзать ее сознание, решил он сейчас, три дня спустя.

Своей работой Арсений гордился с самого начала, с того дня, как выбрал специализацию. Всю жизнь ему доставляет удовольствие отвечать на вопрос: «А вы кто по профессии?» – и внутренне ликовать, улавливая в обращенных на него глазах новое, уважительное выражение и отблеск самого себя, уже более высокого, осанистого, сильного. Всевластного. Слово «реанимация» приводит людей в трепет, заставляет мурашки пробежать колючей волной по хребту. Фраза «Он попал в реанимацию» мгновенно отдает синевой, холодом страха, кислым привкусом обреченности. Глагол «реанимировать» – почти синоним божественного «воскресить». Еще с мединститута он помнит формулировку «наука о закономерностях смерти и оживления организма». Определение реаниматологии. От нее веет таинственностью и могуществом, особенно если вспомнить, что реаниматология в свое время отпочковалась от танатологии. Науки о смерти. Ну, если буквально.

В детстве, коротая долгие сизые вечера в одиночестве, он частенько брал с забитого книгами стеллажа в родительской спальне книгу в серо-лиловой обложке с нарисованной на форзаце амфорой. И больше других греческих мифов, собранных в ней, он любил именно описание царства мрачного Аида. Там, верили греки, среди ужасов ночи обитает и бог смерти Танат с черными крыльями, что шевелятся за его спиной. Холодным своим мечом срезает он прядь волос с головы обреченного и уносит с собой его душу на берега священного Стикса. Он не требует даров и нелюбим не только смертными, но даже другими богами. Арсений часто представлял себе это высокое и грозное создание, закутанное в плащ, в одиночестве бродящим по загробным полям, заросшим аконитом и блеклыми асфоделиями, при виде которого прячутся в расселины даже души тех, кто уже умер и не должен более его страшиться.

Однажды после интернатуры, когда Арсений на две недели ездил в Москву – посмотреть столицу, пошататься по музеям из составленного матерью списка и отвезти несколько гостинцев отцовским коллегам, – он заглянул на вернисаж в Измайлово. За красивым французским словом скрывался огромный блошиный рынок. Чего там только не было! Самовары соседствовали со старыми телефонами, расписными матрешками, бахромчатыми платками,

потемневшими иконами, шапками-ушанками, лисьими хвостами и потрепанными советскими плакатами, пестрящими лозунгами и призывами. Тускло и маняще поблескивал столовый мельхиор, прикидывающийся серебром, махрились корешки книг, мозаичным разнообразием глядели с черных ворсистых подложек значки с Лениным, Гагариным, бессмертным команданте и олимпийским мишкой, запонки, магниты и дедовские медали. Кухонные домо- тканые полотенца и соломенные фигурки домовых и кикимор соседствовали с послевоенными фотоаппаратами, аляповатые картины с охапками сирени и дождливыми пейзажами «под импрессионистов» обрамляли ларьки резчиков по дереву, торговавших деревянными скульптурами медведей всех мастей, а заодно и берестяными шкатулочками, зеркальцами в узорчатых оправках и березовыми расческами и гребнями, на которых вдоль редких зубьев едва виднелись штампованные надписи «From Siberia with love». Над всем этим разномастным великолепием витал дух пережаренного шашлыка и крепкого кваса. От толкотни, голо- сов и залихватской песни про Кострому, несшейся из стерео, у Арсения кружилась голова, становилось смешно и весело, и он даже пожалел, что не с кем разделить эту бесшабашную кутерьму. Родители явно не оценили бы, Арсений тут же представил Сергея Арнольдовича, который пожал бы плечами и назвал это «разлюли-малиной», хохломой или – лаконично и веско – лубком. В сущности, это и был лубок. То же самое, что барахолка народных про- мыслов на их городской набережной. Что-то ярмарочное, низовое, языческое в своей лютой наивной бессистемности, и оттого такое завораживающее. И конечно, глубоко чуждое отцу. Иностранцы мерили меховые шапки и объяснялись на пальцах с деловитыми киргизами и таджиками, ловко пересчитывающими сдачу, хрипло хохотала румяная баба в кокошнике, сарафане и вьетнамках, толкая под бок грузина в спортивных штанах с лампасами.

На развале, среди латунных и бронзовых бюстиков, где толпились разнокалиберные Сталины вперемешку с Николаями II, дородными Екатеринами, бровастыми Петрами, хитрыми египетскими сфинксами и крылатыми ангелами, Гаранин отыскал Анубиса в виде чер- ной собаки из алебастра. Оказалась очень приличная копия той самой изящнейшей стату- этки из гробницы Тутанхамона, которой Арсений не раз любовался в иллюстрированных альбомах. С тех пор Анубис всегда стоял на столе в рабочем кабинете Гаранина, наострив длинные уши и вытянувшись всем телом. Как будто в любую минуту готовый подняться. И в отличие от Таната о косвенном отношении этого собакоподобного покровителя бальзами- рования и ядов к его собственной профессии он сообразил лишь много лет спустя, да и то с подсказки Борисовской. Она тогда только разводилась со своим Васей, сильно располнела и, заглянув как-то раз уже на закате, рухнула на стул, расплывшись по нему ягодицами.

– Вот, – без предисловий ткнула она пальцем в Анубиса, и Гаранин покосился сна- чала на нее, потом на статуэтку, опасливо дожидаясь продолжения тирады. Он только что вернулся с ампутации: у тщедушного, полотняно-белого наркоманчика пошел ангиогенный сепсис. Пока препараты не подействовали, парень выл, звал мамку и обещал завязать, если ему не отнимут ногу. Честно говоря, после этого действия хотелось посидеть в тишине хоть минутку.

Ларка не стала продолжать, и Гаранин поднял бровь:

– Что именно?

– Что именно! – С готовностью накинулась она, передразнив. – Вечно вы, мужики, прикидываетесь шлангом! Будто не понимаете.

Гаранин помолчал. Он моментально пожалел, что не дождался, пока Лара продолжит мысль, и второй раз эту ошибку не допустил. Подруга тем временем шумно вздохнула и взяла-таки статуэтку в руки. Поскребла черную спинку ногтем.

– Хоть бы раз признался. Ты же изображаешь его из себя. Что, скажешь нет? Весь такой серьезный, возвышенный, себе на уме. Бог загробного мира, душу с перышком на весах перевешивать, над снадобьями колдовать, все дела...

Арсений сморщил лоб, намереваясь сказать что-то вроде: «Околесицу ты несешь, Борисовская» или предположить, что душу взвешивает бог Тот, а не Анубис, но Ларка его опередила:

– Только вот не надо мне тут! Знаю я вашего брата. Мой Васька тоже такой. Строил из себя Робинзона, строил... Непонятая душа, одинокий странник. Вот и достроился. Ну и пусть. Пускай отваливает на какой-нибудь необитаемый остров. Мне ж легче. Ага, уедет он, как же! Это я к тому, Гаранин, что нечего из себя небожителя корчить. И вообще не надо ничего из себя корчить. Вот почему, скажи мне на милость, все мужики делятся на тех, кто скучен до непереносимости и копает «от забора до обеда», и мечтателей-переростков, ни черта не соображающих в реальной жизни? А? Идеалисты хреновы. Где середняки-то? Чтоб на ногах твердо стояли. А?

Он не стал говорить, что и женщины сплошь и рядом грешат ровно тем же. Вместо этого пожал плечами:

– Все люди разные... – и быстрее, чем она побагровела и отчитала его за эту глубоко-мысленную банальщину, спросил, тряхнув пачкой рафинада:

– Чай будешь?

Борисовская открыла рот, закрыла, засопела, потом махнула рукой:

– А давай! Черт с вами, мужиками. Хоть чаем напоишь!

– С паршивой овцы хоть шерсти клок? – улыбнулся Арсений.

– Во-во.

Вспоминая сейчас тот разговор, Гаранин невольно провел пальцем по изгибу черного алебаstra и, кажется, понял наконец, о чем тогда бурчала Ларка и что вменяла ему в вину. Это ведь почти то же самое, что повесить в кабинете фото себя, любимого, жмущего руку президенту. Чуть более завуалированно, чуть менее конъюнктурно, но все так же себялюбиво. Всего-то навсего статуэтка с барахолки – и какие глубокомысленные выводы...

– Доктор, вас там спрашивают, в холле, – бросила Валентина, пробегая мимо распахнутой двери кабинета.

За стеклянными дверями отделения, возле лифтов, прохаживалась броская женщина на немислимой высоты каблуках. У Гаранина даже мелькнула мысль, не вывихнет ли она голеностоп с минуты на минуту: так неестественно были выгнуты ее стопы, закованные в алый лак туфель. Впрочем, передвигалась она на них со впечатляющим мастерством. Короткие рукава блузки открывали тонкие и рельефные загорелые руки. Спортзал и курорт.

– Арсений...

– ...Сергеевич, – подсказал Гаранин.

– Сергеевич, – она улыбнулась, едва заметно прикусив губу. Ее лицо незамедлительно приобрело вид лукавый и донельзя соблазнительный. В эту секунду ее не портило даже то, что левый глаз немного косил в сторону. – Здравствуйте, я Вероника, дочь Владимира Баева. Он у вас лежит. В коме.

– Да-да, первый бокс. Чем могу?..

– Я прилетела, как только смогла. Брат позвонил. Просто я в Москве живу, сами понимаете...

Что должен был «сам понимать», Арсений точно не знал, так что предпочел не кивать попусту. Так или иначе с момента несчастного случая с Баевым-старшим прошло уже три с лишним недели. От Москвы можно было дойти пешком.

– Можно мне навесить? Папулю?

Гаранин понял, что медсестра не взяла на себя право впустить посетительницу, особенно после их недавней стычки. Хоть на том спасибо.

Злодеем он не был и родных пускал – чаще всего попрощаться, потому что реанимация – не проходной двор, здесь боролись за жизнь и врачи, и пациенты, а остальные только

мешали. Для посещений же открыты двери других отделений, когда больных переводят туда. К Баеву-старшему до сего момента из родных никто не порывался, только однажды появилась тихая неприметная женщина с бархатными восточными глазами и аккуратной старомодной улиткой из темных с проседью волос. Представилась приходящей домработницей. Гаранин отказал: домработниц пускать не принято. И, пока она шла прочь, все хмурился и думал – а почему, собственно, не принято? Если она пришла проведать человека, стало быть, он ей небезразличен... Арсению пришлось нагнать ее уже на лестнице и в двух словах обрисовать состояние своего подопечного, чего он вообще-то делать не выносил. На то опять-таки были другие врачи и другие отделения. В реанимации прогнозов не делают.

А теперь вот явилась и дочь.

– Вероника Владимировна, ваш отец сейчас в коме. Ни на что не реагирует, и дышит за него ИВЛ. Вы должны это понимать. Он не слышит, не ощущает, не думает.

– Да, да, да, мне брат передал, – мелко закивала она. Поймать ее взгляд оказалось трудно, он постоянно сквозил чуть мимо, и про себя Гаранин решил, что это легкое косоглазие даже придает посетительнице некий шарм. Ее брат-бизнесмен, с которым Гаранин пообщался лишь раз, напротив, был обычным русским детиной, ничуть на нее не похожим. Конечно, тот не упустил возможности сказать сестре, что оплатил их отцу отдельную палату.

– А в остальном... Конечно, навестите.

Баева обворожительно улыбнулась:

– Спасибо, доктор!

Арсений провел ее в палату, приготовившись объяснить присутствие здесь второй пациентки, той, что без имени, но Вероника быстро процокала к кровати отца и присела на край, не обращая внимания на что-либо вокруг.

– Папуля!

Арсений предпочел выйти. Хотя и не удержался в последний миг от того, чтобы взглянуть на монитор возле Джейн Доу.

И уже в коридоре услышал, как резко всплеснулось и ходуном заходило все отделение. Заговорили, засуетились.

Единственный вопрос:

– Что?

– Авария на проспекте. Лобовое, маршрутка и легковушка. Два трупа, остальных к нам везут, – отрапортовала на бегу Ромашка.

– Сколько?

– Четверо! – выкрикнула она на пороге отделения. – Один – ребенок. Пять минут!

Народу на всех может не хватить, прикинул Арсений. Одна бригада в родильном на кесарева, две на плановых в онкологии, одна на стентировании в кардиологии... И, раздав отрывистые приказы, он помчался вниз встречать первую «Скорую».

Инструментарий готовили впопыхах. Когда мозг занят тысячей дел, во врачебной голове они не перебивают друг друга, сваливаясь в куча-мала, а выстраиваются в список. И по мере исполнения список просто ползет вниз, будто рейсы на табло прилетов, только очень быстро: верхняя строка смещается, и на смену ей тут же приходит следующая. Иногда Гаранину казалось, что вся операционная команда: хирурги, анестезисты, анестезиологи, операционные сестры – лишь тени, некая интерактивная система. Даже вместо восьмибитной озвучки – вполне подходящий писк и сигналы датчиков. Но он никогда не обсуждал этого с кем-либо из коллег. Это ощущение непременно пропадало, стоило только операции завершиться, и даже воспоминания о нем как-то очень быстро улетучивались.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.